

Александр Андрюхин

В ОЖИДАНИИ СУДА



ВОСЬМАЯ КНИГА СТИХОВ

В эту книгу вошли стихи, написанные в 1991 году — в самое мрачное время в новейшей истории России. Атмосфера упадка от распада СССР и начала разграбления страны переданы поэтом довольно правдиво. Если когда-нибудь историки заинтересуются настроением широких масс девяностых годов, то книга «В ожидании суда», самый точный документ того времени.

ЦЫГАНКА

Отвали с предсказаниями, тетка!
Что вцепилась в рукав, как репей?
Пусть измызган я, словно подметка,
и растоптан, как римский плебей.

Пусть ты Аза и вся черномаза,
черноглаза и бьешь прямо в глаз.
Но от глаза недолго до сглаза,
а от сказа свихнешься на раз.

Есть в пророчестве что-то от блуда,
от него только небо гневишь.
Что уставилась, милая, будто
озверевшая кошка на мышь.

Кто-то жизни свои, как репризы,
хочет страстно прочесть по руке.
Только я ожидаю сюрпризы,
что маячат еще вдалеке.

И вслепую шнырять среди люда
я желаю, как в ливень вода.
Я живу в ожидании чуда,
мир живет в ожидании суда.

В ПОДВОРОТНЕ

В подворотне вокзала убили мента —
повезло, не дожил до страшного суда.
Тридцать ран ножевых, и бельмо на глазу.
Лейтенант рукавом утирает слезу.

Бой часов оглашает полночный вокзал.
— Группировка, — задумчиво опер сказал.
Врач сорвал простыню и отпрянул народ,
фотокоры рванули, как мухи на мед.

Причитает старушка:
— Ой, мама моя!
Опер хмур, как фореитор:
— А ну отошла!
Вот и дожили, бабка... Такие блины...
Где отцы не дорезали, режут сыны.

Это злоба обманутых кем-то отцов
формирует молодчиков из молодцов.
Это вам назначалось в ребро, президент!
Просто мент самый крайний, на то он и мент.

Гаснет мир привокзальный. Скукожился свет.
Репродуктор умолк. Лишь Верховный Совет
заседает. Решения ждут города
на предмет ветчины. Нождемся суда.

В ТБИЛИСИ

В суровом Тбилиси под русскую мать
рвут задницы, глотки и гланды.

— Товарищ, устал я лопатку сжимать! —
сказал лейтенант лейтенанту.

Устал я, товарищ, крошить кочаны
и слышать, как байки нам травят.
В столице удавят за шмот ветчины,
а здесь за лопатки удавят.

Ужасен, как Терек, грузинский оскал:
домой бы, во все бы лопатки!
Но только в Кремле поднимают бокал,
чтоб мы не бросали лопатки.

В каких заведеньях, пройдясь по носкам,
учил военрук нас — дубина —
саперской штуковиной бить по мозгам?
Ведь в каждой извилине мина.

Какого танкиста, что жарит на газ,
впотьмах озаряет улыбка?
Сапер ошибается в жизни лишь раз,
а тут что ни лоб, то ошибка.

Под дрожь салажни замирает Кура,
когда отбивают куранты.

— Товарищ, уж полночь. Обедать пора, —
зевнул лейтенант лейтенанту.

ПАРК «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Так скучно и грустно, что некому руку подать
на склоне,

где парк недостроенный «Дружба народов».
Минфин одобрял и отцов ободрял, да, видать,
мошны не хватило, а может, для сварки катодов.

Так пусто и тихо, что бабочек слышен полет
среди мраморных плит

и щебенки, раскрошенной тюрей.
Все вымерли, лишь репродуктор куда-то зовет
все той же тревожной
трибунной своей увертюрой.

Мы августа дети! Трибуны не столь нам важны
сколь колики в сердце за трудные Родины роды.
И я в августейший слоняюсь тоске, где должны
сплотиться навеки

среди гипсовых статуй народы.

Здесь пары должны миловаться, а ночью со сцен
даваться концерты певцов и поэтов. Но ценны
лишь новые флаги. Под ними разруха, и тлен.
Концертов не будет,

поскольку сожрут все концерны.

Скамьи и беседки. Скульптур недобитых бедлам.
ЗакУпорен дух в монументы, как химия в колбы.
От дружбы остались гранит,

да строительный хлам.

Народы расщеплены в злые угрюмые толпы.

РОЖА

Над нами туча, как рогожа,
под нами — вечный гололед.
Читатель ждет уж рифму «рожа»,
и точно — вот ее подлет.
Упрямый лоб, и нос как слива,
и челюсть — словно божий дар.
Ей путь один — на запах пива,
как самолету на радар.
И пусть ветра шальные дуют,
не ей, а нам околевать.
Такие рожи существуют,
ей богу, чтобы в них плевать.
В нее я плюнул бы похоже,
чтоб дух упавший подкрепить,
когда б не уловил на роже
желанье встречное убить.
Она в четыре пальца свищет,
она мрачна, как динамит,
она отнюдь не счастья ищет,
скорей, от счастья бежит.
Пока плевать желанье давит,
под серой тучей нулевой,
от этих рож нас не избавит
ни бог, ни царь и ни герой.
Когда шарахнут в ночь морозы
и участков бросит в дрожь,
не жди читатель рифмы «розы»,
а жди багровых этих рож.

ЖЛОБЫ

На углу асфальт вскрывали,
как сахарские гробы.

— Эй, жлобы, чего вы встали,
что задумали, жлобы?

Может быть, ломы, как кошки,
ржаво выгнулись дугой?
Может, ваш предмет долбежки
возмутил смурной покой?

Но компрессор тверже стали,
мышцы вздулись, как клопы.

— Эй, жлобы, чего вы встали,
что задумали, жлобы?

Упаси, Господь, от сглаза!
Брат ваш груб и нелюдим.
Раздолбить — так это сразу!
«Все долбим мы, брат, долбим».

Вот министр на «Волге» катит —
ни за что ему не знать,
что вскрывать, пожалуй, хватит,
что пора бы настилать.

Эх, бульварное холопство
на бульдожьих на ногах!
Развела Отчизна жлобство,
как редиску в парниках.

Бригадир с тоской бульдожьей
мотобойный лупит алыт —
в государстве бездорожья
дан приказ крошить асфальт.

Дан, как будто к блюду ложка,
будто к роте комиссар.

— Эй, жлобы, почем долбежка!

— Эй, мужик, о чем базар!

— Зря, начальник, силы гробишь, —
кто-то гаркнет из-за спин, —
нас уже не передолбишь,
нам долбили — мы долбим.

Тормознет с нулями «Волга»,
дверцы хлопнут, как врата.
Если вдолбят, то надолго,
а раздолбят — навсегда.

Мотобойные педали
ждут нас, грешных, как гробы.

— Эй, жлобы, чего вы встали,
иль задумались, жлобы?

МЫСЛИ В СЧЕТ

Снег летит на стекло
 сквозь мою мозговую кору.
Снеговик во дворе,
 словно роза на праздничном торте.
И молотит хозяйка плетенкой своей по ковру
вдохновенно,
как будто по чьей-то откормленной морде.

Снег ложится в поля,
 как Указ президента в умы.
Снег ложится на площади,
 словно стихийным заслоном.
Да, уляжется все,
 ляжем в землю когда-то и мы
все по тем же небесным,
 неведомым людям законам.

Тягомотина. Стужа.
Из всех европейских клоак
всех клоачнее — наша,
и сила последней убойна.
Пентагон разбомбил от балды
беззащитный Ирак,
а в Багдаде, как в сонном Симбирске,
все также спокойно.

Ах, какие снега он под свой примеряет колер!
Ах, как тащит в дыру эти Земли
от Нила до Рейна.

И молотит хозяйка плетенкой
персидский ковер
вдохновенно,
как будто усатую морду Хусейна.

Тягомотина. Насморк.
Усталость от вечных хлопот.
Все течет, не меняется,
тлением прет от истоков.
Белизну сменит грязь,
демократа заменит деспОт.
Ничего-ничего,
деспотизм порождает пророков.

В жизнь и смерть мы играем,
а судьбы играют в лото.
Им до фени герои, отвага,
и нервные речи изгоев.
Богу важна не вера, а знать ему нужно на что
мы способны
среди стужи, железа, крови и помоев.

В ПРОУЛКЕ

В том проулке с окурками урки,
что за жизнь не дадут и гроша.
Проходя мимо урков в проулке,
пожалеешь, что нету ножа.

В том проулке почти как в романе:
тьма зловеща и сзади польба.
Если б финку имел я в кармане —
вмиг бы жертву послала судьба.

Упаси меня, Боже, чтоб с дуру
унаследовать нож, как гайдук.
Можно взять на испуг чью-то шкуру,
но судьбу не возьмешь на испуг.

Будет так, как вещала ты птица,
а вещанье ее таково:
стоит лишь за кирпич ухватиться —
тут же рожа, что просит его.

Поковарней, пожалуй, плутовки
будет жизнь, и лукавей вина —
только вычистишь ствол у винтовки,
тут же в городе грянет война.

Чтоб судьбу не испытывать, с «тулки»
снял затвор я, швырнув под кровать.
Если Бог допускает проулки,
значит, хочет в них нас испытать.

ЛЮДИ

Думаю, лишь до поры
в душах беснуются свищи.
Люди, они, как ковры,
чем больше их бьешь — тем чище.

Думаю, вечный скулеж
людей небеса питают.
Чем больше к земле их гнешь,
тем выше они летают.

ПО ПУТИ ИЗ ДЕТСАДА

Под созвездьем Софмина
в предголодном году
из детсада я сына
за ручонку веду.
Мы бредем по аллейке,
и аллейка ведет,
и луна, как из лейки
нам печаль свою льет.
Только ветер в карманы
проникает, как вор,
да бурчат наркоманы
на соседский забор.
Заглотнут по таблетке
и рвануться пинать.
Вот беседка. В беседке
перепившая блядь.
Вот и двор, что закован
в общепринятый бред,
вот асфальт, что оплеван
как российский поэт.
Вот садовник беспутный,
что глотает бурду.
В этот мир неуютный
я мальчишку веду.
Вот чернуха из окон
и с фингалами мисс.
Вот фонарь, словно кокон,
над вселенной завис.
Вот подвал, что распахнут
будто крышка гроба,

где волчиной пахнут
чьи-то дети труда.
Бьется мать, будто в сетях
за изломанный грош.
Эта жизнь в наших детях
изуверская ложь.
Под созвездьем Совмина
в этот мир, как в беду,
из детсада я сына
за ручонку веду.
Он доверчивый, летний,
словно синяя даль.
Со ступеньки трехлетней
он чихал на печаль.
Он щебечет, шагает,
он румян и хорош,
и его забавляет
изуверская ложь.

ПОЧТИ ПО КАТУЛУ

В кабаке, где отпляс под разгульны «Атас»,
крестный папа крутой, как БЕЛАЗ —
озирает меж драк ненавистный кабак,
где упились две сотни собак.

Тут ханыги из Риги, из Буй торгаши —
злы как сволочи, в куртках ножи.
Тут в законе воры и посланцы Куры,
что на рынке дерут три шкуры.

Тут чеченская масть и армянская пасть —
мать-россия, тебе ли пропасть?
И рыдает кавказец в куриный бульон:
— Ай, в кубышке пропал миллион...

Там, в краю золотого руна далеко
русский брат застрелил Сулико.
— Вот болото, — вздыхает упившийся вор,
щуря глаз на персидский ковер.

Вот и шлюхи, святой добавляют бедлам
по оплеванным мутным углам,
рэкетеры столичные по Ильичу
и по Ницше — стреляй, не хочу!

И она среди вас, та, которую я
возлюбил, парусов накроя.
Каждый фрайер теперь с енисейских солей
до утра может тешиться с ней.

О, я вырву глаза, чтоб не зреть этот стыд,
как фракийский мой брат Демокрит.
И я вырву язык, чтоб последний мой крик
в кулуары вселенной проник!

Или нет вам управы, в стране где сопят
мусора от нехватки зарплат?
Или красотки рождаются только для вас,
мафиози и горный кавказ?

Смертным ядом гюрзы начиню я слова
и вобью их вам в лоб, фрайера!
Погасите светило, зажгите свечу —
отслужить панихиду хочу...

АНЖЕЛИКА

Анжелика, я выбежал утром из дома,
чтобы звякнуть в столицу и выйти из пика.
Ты приснилась сегодня покорней Гитона,
и я понял: с тобою беда, Анжелика.

Может, муж твой, тот самый, кровей арамейских,
вновь похитил тебя, как соломинку кочет.
Может, транс ассирийский от телеармейских
передач твою душу прозрачную точит.

Или глаз на ажурные дебри колготок
положил неожиданно негр Доминика?
Или конкурс пройдя всевозможных красоток,
в Рим уносит тебя самолет, Анжелика?

Или плащ твой блестящий сменился на ватник
под воздействием псов, не читавших Петрарки?
Иль тебя изнасиловал пьяный десантник
в парке Горького, или в троллейбусном парке?

Что тобою беда, по сердечному стуку
уловил я, спросонья расставив кавычки.
Ты мне снилась покорной, но сон был не в руку,
видно — в ногу, с которой я встал по привычке.

Я влетел на почтамт весь свинцовый и в шляпе,
и набрал все что нужно с печалью немою.
Но ответила мама, ты где-то в Анапе,
и я понял: беда не с тобой, а со мною.

ЗА ПИВОМ

Нынче день пивоваренных титров.
Слава пивораздаточным точкам!
Двадцать тысяч не выпитых литров —
сорок тысяч ударов по почкам.
А на лицах у жертв ни кровинки —
никого не стыдят и не гонят.
Разве тут по кому-то поминки?
Или это кого-то хоронят?
У мужчин очень хмурые лица,
у детей очень ясные взоры.
Нашим женам взлететь, словно птицам,
как всегда не дают пищепромы.
Подходи же и сытый, и нищий,
как на милостыню после Калки!
Вся Россия — большое кладбище,
а пивные ларьки — катафалки.
У Минздрава отточены ласы,
у Минфина в «шанелях» болонки.
Нам вручают талоны на мясо,
будто собственные похоронки.
И разит мертвечиной из бочки,
черной злобою очередь мажут.
Если вправду откажут нам почки, —
в инвалидности нам не откажут.
Подъезжайте на ладах и нивах!
К черту квас, лимонад, или воду!
Если встанем все разом за пивом,
будет некому встать за свободу...

СВОБОДА

Я сегодня свободен, как рыбы в полете,
что с крючка сорвалась под рыбацкое «ах»!
Не трепещут сегодня в родимом болоте
даже новые флаги на старых ветрах.
Грязный парк, мафиози одетый по моде,
медный вождь, воробьи финтифлят по снежку.
Я брожу, о своей размышляя свободе,
что свалилась внезапно, как снег на башку.
Всюду дамы: шикарные Оли и Вали,
и Оксан обалденные вдупель глаза.
Мне открылись такие ажурные дали
и такие капроновые небеса,
что я пьян, как сапожник,
и счастлив, как Рильке!
Что за далями теми? Вовек не узнать.
Ведь свобода — как джин,
что таится в бутылке,
но Господь позволяет его выпускать.
Вечереет, знобит, засыпают народы.
но ажурные дали — как сны в теремах.
Кто свободу воспел, тот не знает свободы,
а свобода — всего лишь сиротство впотьмах.
Ведь она только жлобству дана на потребу,
а для прочих свобода — как пот солона.
Из толпы одного вознесет она к небу,
а толпу в преисподнюю низвергнет она.
То забава на час: утереться от пота,
оглянуться, проснуться, вздохнуть и вперед!
Я заряжен свободой, как ствол пулемета
и не знаю, кто мной и в кого долбанет.

ВЫСОЦКОМУ

Высоцкий, что ты натворил —
разбередил все раны.
Мы вышли в люди из горилл,
теперь идем в бараны.

Опять на сердце смертный зуд
на тишь в Замоскворечье.
И снова жрут, по-волчьи жрут,
а блеют по-овечьи.

Здесь хрип разорванных сердец
заглушат кривотолки.
На стадо пуганых овец
всегда найдутся волки.

Хоть в преисподнюю уcati —
надежды не питаю:
на этом свете два пути —
в отару или в стаю.

Кошара вздрогнет от клыков —
вперед, орденосцы!
Опять охота на волков,
не пожелавших в овцы.

Нам не унять сердечный зуд,
простите нас, потомки!
Поскольку, все равно сожрут,
уйдем с рассветов в волки.

Высоцкий, слышишь, петухи,
в башке вскипают мысли.
Любовь к тебе не за стихи, —
за то, что (блин!) загрызли.

И вновь потеха, хрип и стон,
и судороги корчей.
Где волчий выписан закон,
нельзя не быть по-волчьи.

Пусть каждый станет нем и глух,
пусть рвет друг друга в клочья!
Подозреваю, что пастух
и сам с билетом волчьим.

ТРИДЦАТЬ ТРИ

*Мы к долгой жизни приговорены.
В. Высоцкий*

Я взлететь-то еще не успел, как Дедал,
а душа, как витрина, разбита внутри.
И осколки томят, и я с ними устал,
и устал быть поэтом в свои тридцать три.

Я в текучке устал все великое чтить
и выискивать жемчуг в нетленном дерьме.
Я бескрылое тело устал волочить
по не взлетной,
пропитанной скорбью, земле.

Я устал все доказывать, что не верблюд,
что не рыжий, не лысый (и если просвет
меж волос — это разума проблеск), и суд
я устал ожидать эти тысячи лет.

Я устал от толкучек, от давок метро,
от ларьков, бутиков и сверкающих ног,
я устал вертухаям доказывать, что
дважды два — не двенадцать,
и дьявол — не Бог.

Я устал наблюдать, как верховные псы
раздирают страну и дурачат народ,
как лукавят продажной Фемиды весы,
и под ними людской погибается род.

От земной слепоты я особо устал,
и от горних прозрений грядущего дня.
И не столь мне ужасен циклопа оскал,
сколь баран у ворот в утвержденьи себя.

Я бороться устал за аршины в гробу
и за дачные сотки в долине невзгод.
Я устал эту Землю держать на горбу,
как Атлант, что держал-то всего небосвод.

Я устал равнодушной вселенной внимать,
и не помнить, чем жил, и кому я служил?
Даже смерть, как Шекспир,
не могу я позвать:
знаю, тьма там! А света я не заслужил.

Я устал быть раздором большого пари
между чертом и Богом,
что проклят и свят.
Я устал, как скотина, в свои тридцать три.
Что Христос?
Он и был-то всего лишь распят...

РАЗВЕ НОВО

Разве ново, что истину
 либо слюнявят в вине,
либо в книгах мусолят,
 чтоб позже спалить под сурдинку?
Сколько помню себя,
 то работу ищу я, то не-
пременно найдя ее,
 лезу фатально в бутылку.

Я не то, что готовлюсь в хоттабычи,
 или в вину
ставлю миру никчемность свою
 не вполне триумфально.
Все счастливые судьбы похожи
 одна на одну,
каждой белой вороне
 несчастье дано персонально.

Разве ново,
 что серость прожорлива, как саранча,
и воюет бездарность с талантом,
 и совесть не свята.
Искры в душах хрупки,
 в изголовье Фемиды свеча,
храм на службе хамья —
 отклоненье от нормы чревато.

Только копоть свечей,
 только в темном углу образа,
полумрак, полушепот
 под полусознание и полу-
слепота, ибо полное зрение режет глаза,
а ментальна суть —
 этой кайф сигарет и ментола.

Разве ново, что счастье земное —
 как глухость дверей —
сколь в ночи не стучи,
 только пальцы собьешь о подкову.
Одиноко гуляю
 под тусклой ордой фонарей,
не приняв полусвета,
 а впрочем, и это не ново.

СЛЕПЕЦ

У врат, не столь уже святых,
сколь охраняемых ОМОНОм,
стоял слепец потертым томом
с рукой, нацеленной под дых.

И словно храм, в его горсти
желтели грязные монеты,
и вдрызг разбитые штеблеты
обязывали храм блюсти.

А небо хмурилось, вздымал
рассвет громады туч из стали,
и хмурый вождь на пьедестале
кепчонку медную сжимал.

Угрюмо на слепца косясь,
толпа проскальзывала свещем
в тот дом с колоннами, где нищим
не подавали отродясь.

И чужеродный атрибут
не мог не ощущать по звуку,
что за протянутую руку
здесь трижды ноги оторвут.

В костюмчике какой-то гад
на вахте что-то очень тихо
шепнул, и мент дубинку лихо
схватил, как депутат мандат.

и молча вышел из фойе
с любезной миной неваляшки.
Лихой ударчик — и медяшки
рассыпались по всей земле.

Слепец со страхом пополам,
трясаясь, зашарил на ступенях,
как будто можно на коленях
вслепую вновь построить храм.

НА БАЗАРЕ

Горемычные цыгане
сигаретами торгуют.
Не воруют больше сани
и коней уж не воруют.
Скалят зубы золотые
в клипсах модных из пластмассы,
и цыганки молодые
говорливы и цветасты.
То взволнованно судачат
про какие-то запреты,
то кричат:

— Кому без сдачи
сигареты, сигареты!
Уж не тянутся к прохожим,
словно к тонущим пираньи,
и прохожий не похожий
уж на чье-то изваянье.
Хиромантией избитой
уж не пудрят встречным мОзги —
хиромантией забиты
все газетные киоски.
И гудит базар, как вече,
и цыгане в нем как вешки,
и бредут менты навстречу,
как табачные издержки.
Не хватают их за гетры
и не шарят по карманам.

— Сигареты, сигареты, —
всем табачным наркоманам.

Как кирпич — товар не сбытый,
как душа — пусты витрины.
Мир избитый, недобитый
превращается в руины.
Уж вострят красотки лыжи,
фрайера сдают бутылки.
Где Земфира? Уж в Париже.
А Алеко? Уж в Бутырке.
Покатилась жизнь монетой
шустро, звонко — не поймашь.
Сигарета, сигарета,
ты одна не изменяешь.

ЖЕЛТЫЙ СТИХ

По Москве бредет повеса,
раскудряв и пьян —
представитель желтой прессы
Костя Кеворкян.
Бледный лик его лоснится —
горе без вина!
Желтый сквер, смурные лица,
желтые дома.
В этом доме окна желты,
в том — еще желтей.
Поправляет немка шорты,
чесет грудь еврей.
С каждым днем желтей погода
и блокнот в руке,
и паршивей год от года
пиво в кабаке.
Желтый мир в желтке прозревший,
верно, есть Содом.
Скоро, верно, переспевшим
свалится плодом.
Катит желтая бибика —
свет — желтее ржи.
Лишь артисточки из ВГИКа
также все свежи.
Будет вечер, как сыпучий
замок из песка,
и вползет змеей гремучей
желтая тоска.
А напротив, как издевка,
«Парк» и «Пентагон».

Постучится Костя к девкам
желтым, как лимон.
И предложат вдруг красотки
брови теребя,
за доллАр бутылку водки
и за рупь себя.
В желтом доме даже гвозди
ржавы и кровать.
Что возьмешь с бедняги Кости?
Эх, вьетнама мать!
Эх, Москва моя столицы —
забубенный клан.
Желтый сквер, смурные лица,
желтый Кеворкян.

КОГДА СТАНУ ДЫМОМ

Не сожайте в бутылку меня,
 будто джина, когда стану дымом.
С детских лет не люблю тесноту
 и холодную мерзость стекла.
О, плутовка, когда-то и я был кудрявым
 и в доску любимым,
но что было, то сплыло,
 а прочее ты подожгла.

Догораю, и ветер мой пепел разносит,
 как листья по саду,
только стелется дым по земле,
 и к ногам твоим льнет, как колым.
Я вдыхал аромат твоих губ и волос,
 и духи и помаду,
а теперь ты вдыхаешь
 мой едкий и горестный дым.

Не кривись, как стекло, не бледней,
 как сметана в припрятанной крынке.
Ты сама подожгла эту плоть,
 что от ног твоих к небу взлетит.
Понимаю, зачем для жилищ
 эти джины избрали бутылки,
но я к счастью не джин,
 да и мне в них не очень фартит.

НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

Подражание Катулле

Кто сказал, что прекрасны,
как солнечный день,
эти клячи с размером ноги в двадцать семь?

Лошадиные ребра, стройбатовский шаг...
Обаятельны в них только импортный лак,

да румяна с помадой. А в мертвых глазах
лишь кофейная зыбь, да стеклянное «ах».

Эти вешалки для простыней и одежд,
что пошиты для шлях, торгашей и невежд,

неужели прекрасны? Ключу от тоски, —
либо мир без мозгов, либо ссохлись мозги.

Либо здесь у жюри атрофирован вкус,
либо давит на них криминальный бугуз.

Если кто и прекрасен, так это моя Галатея, изящная, точно змея.

МАРИНА

О, коварная Марина,
вы моя зубная боль.
Тюбик пуст от «поморина»,
ночь безмолвна, будто моль.
Чудеса пошли от Грина,
от Марины — визави.
Ненавижу вас, Марина,
обожаю, черт возьми!
День пропах абрикотином,
ночь без запахов и снов.
Где вы шляетесь, Марина?
У меня ни сил, ни слов.
Кто-то скачет попугаем
в ресторанчике дрянном,
где с усатым вертухаем
обливаетесь вином.
Он наглеет, он городит
что-то пошлое в усы,
он с Марины глаз не сводит,
будто кошка с колбасы,
Тяжко дышит перегаром,
и течет его слюна...
Он не знает что ударом
убиваю я слона.
Небо в блесках бриолина,
ночь в налетах из мур.ы.
Где присутствует Марина,
там отсутствуют миры.
Ой, цветет моя калина,
где ни поля, ни ручья!

Ночь темна, луна как дыня,
облака, как алыча.
Общежитская скворечня
спит спокойно и без снов,
Я считаю безуспешно
не убитых мной слонов.
Только коркой мандарина
что-то тлеет в вышине.
Если истина в Марине,
что же плавает в вине?
А слоны из речки Сити,
прут упрямо на кровать,
Ах, Марина, пощадите,
я устал их убивать!
Я устал от вас Марина,
я закроюсь на засов,
я не сплю от аспирина,
вы не спите от усов.
Звездный свод на стеклах дремлет,
шавки лают на луну,
ночь темна, пустыня внемлет —
непонятно лишь кому?

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

1

В телеэкраны взгляды вперея,
утихло все в поддунном мире.
Сегодня тайная вечеря
в 00 часов в прямом эфире.
На волю птаха улетает
и отпускает шкурник зверя,
и мгла ползет, и каждый знает —
сегодня тайная вечеря.
Заснули бабочки и гады,
забились мурки и барбосы.
Экраны всасывают взгляды,
как пыль ночную пылесосы.
Сегодня тайна станет явью,
все в нетерпеньи, всем неймется,
не свищет соловей «ай лавью»,
еще минута и начнется...

2

00 часов, одна минута —
трибуна, герб, записок грудa.
В колонном страх, в столице смута.
Который там из них Иуда?
Вот ритор рывкнул, кесарь некнул.
Спаситель слово взял, осекся.

Еще петух не кукарекнул —
апостол в пятый раз отрекся.
Мелькнул зловеще желтый китель,
обмяк коленопреклоненный
хитон, и поднял взор спаситель
на мир, что трижды неспасенный.
Трибун, волна негодованья,
министр псалом зачел от червя.
Мир затаил свое дыханье —
пошла эфирная вечера.

3

Все ничего, все обойдется,
покуда живы мы, покуда
сердца не лживы, кровь не льется.
Да кто же там из них Иуда?
Он должен выйти, должен чмокнуть
святейшего. Народ свидетель.
Вот встал один. Уж время охнуть —
но вырезали, сучьи дети!
Прямой эфир! С улыбкой тонкой
спаситель крошит хлеб для бардов.
Ломтем вот этим и солонкой
насытятся пять миллиардов.
Уж лучше право на съеденье
отдаться свиньям или гуннам.
Вчера последнее паденье —
рвались апостолы к трибунам.

4

Вчера рвались, сегодня платят
слюнями. Риторы в Совете
вопили:

— Эй, на всех не хватит
серебреников, сучьи дети!
Да где антихрист, что за кости
святые выцыганил мани?
Трепещет каждый тут от злости,
и звон у каждого в кармане.
Вспотел графин. Давно отптели б
псалмы и яд пустили в кофе,
но давит сверху лысый череп —
намек на лысую Голгофу.
Народ безмолвствует тирану,
тиран безмолвствует, покуда
глазами шарят по экрану,
гадая тупо, кто Иуда?

5

Пора свой крест валить на плечи
и на Голгофу отправляться.
Вечеря — далеко не вече,
на вече слюни не простятся.
Толпа экранам тихо внемлет,
как парашютный купол стропам.
Кому, Господь, ты вверил Землю?
Христопродавцам и холопам!

Что Кесарь, Богозаменитель,
белей в президиуме мела?
Последний раз вздохнул спаситель:
— Да разве же в Иуде дело?
Да разве же об этом пели
две тыщи лет, в псалмах отмерив?
Что недоедено — доели,
на том кончается вечеря.

РЕЗИДЕНТ ИВАНОВ

Резидент Иванов уж три года
и, глядя на Манхеттен не видит зарплату,
с протянутой шляпой в руке,
проклинает связного,
Москву и вонючие Штаты,
и шифровку хранит
на макушке в седом парике.

А в шифровке посланье:
 «Не верьте вы сэмам и биллам,
 дипломатам, банкирам
 и прочим, что в Русь влюблены.
 Обобрать, растоптать,
 захватить, раздробить, как зубилом —
 таковы их задачи
 по поводу нашей страны».

А связного все нет.
А в макдональдсах чертовы янки
над наивностью русских смеются,
смакуя «Нестле».

И бледнеет разведчик:
«Ослепли вы, что ль на Лубянке?
Тех, кто предал и продал страну,
вы найдете в Кремле».

Резидент Иванов
 ходит мрачный, голодный и мятый,
и морзянку зубами стучит,
 но в ответ тишина.
«Я согласен еще сорок лет
 куковать без зарплаты,
лишь бы знать, что мы живы,
 что были страдания не зря».

Но явился связной,
 и сказал своих органов слово:
— Передатчик снеси в ЦРУ
 и живи, как в раю.
Только взял за грудки
 резидент проститутку-связного:
— Мне не нужен твой рай.
 Дай мне Родину, сволочь, мою!

Ночь спустилась.
 Манхеттен зажегся цветными огнями.
Наш разведчик ту хоум потопал
 с разбитой губой.
Как же Родине-маме
 с продажными быть сыновьями?
Только знай, резидент Иванов,
 он до гроба с тобой!

РАССВЕТ

Кудрявый, сонный и небритый
рассвет за речкой ошивался.
Мой город, вдребезги разбитый,
под фонарями просыпался.
В такую рань мозги крошатся —
ни кукарекнуть, ни аукнуть.
Ах, так не может продолжаться,
должно сегодня что-то рухнуть.
Все в жизни дрянь, все в мире тленно,
от блудней чахнет и от буден.
Нет-нет, сегодня непременно
мы в преисподнюю отбудем.
Вставай, оркестр, пилишь аллегро,
пестрейте улицы от платьев!
Ах, наконец, сегодня недра
земля откроет для объятий.
Слепой, трухлявый и понурый
молчал рассвет, как бедный Йорик.
Спешил народ. Лопатой-дурой
уродовал наш дворик дворник.
Все хорошо, все в мире клево,
все плево! Только звезды тухнут,
да в прессе чертовой ни слова,
что мир сегодня в бездну ухнет.
Тоска. Обшарпанные зданья
обшарил ветер с матюками.
Фонарь без лампочки и званья
качал созвездья вниз рогами.

КОНФУЦИЙ

Уйду из жизни этой куцей,
оставив славу и врагов.
Чего конфузишься, Конфуций
из глубины своих веков?

Сижу в норе под лампой слезной,
глядя во тьму, как Геродот.
В Отчизне ясной и нервной
первейший муж я и банкрот.

Я нищим был, и нищим сгину —
судьба! Другого не дано.
Толкает рок рогами в спину
в болото, в пропасть, в глушь, на дно.

Мои дела всегда не важны.
Я знаю всех на этом дне.
Тут нищие вдвойне продажны
и беспощаднее втройне.

Но не закахнуть мне над златом,
не сгинуть за презренный грош.
Конфуций, стыдно быть богатым
в стране, где подкупы и ложь.

Ты прав, мотать пока не поздно
в деревню, в глушь, на всех китах.
Когда ж возмездье грянет грозно
в последних стыдно быть рядах.

РОК

Гоним то ветром, то эриньями,
то острым древком кумача,
мечусь, как бисер перед свиньями,
ва-банк стихи свои меча.

Мне мало тления лампадного,
и мало звяканье монет —
я до захода солнца славного
хочу узреть нездешний свет.

Но мрачен путь, и тропы ливнями
размыты, и далек триумф,
и кружит рок, и машет крыльями,
и чистит мраморный свой клюв.

Избит я градом, смочен давними
обидами, как бледный Брут.
Играет мной, как ветер ставнями
проклятый рок и Божий суд.

Я был на дне, и в уголовщину
был с детства брошен, и кастет
знавал мой нос, но в поножовщину
мечтал вдохнуть нездешний свет.

Он где-то рядом, где не гасятся
его столбы над головой.
К нему дороги льнут и ластанся
и не берут меня с собой.

И в тот уютный мир расплющенный,
где сердце тает от истом,
я кем-то свыше не допущенный,
как нищий странник в сытый дом.

И получив свое классически
по голове, что без зонта,
кричу я в небо канонически:
— Послушай рок, пошел ты на!

Послушай рок, пошел ты в задницу!
Что привязался, будто див?
Я в эту жизнь, как в усыпальницу
вошел, все лучшее убив.

НЕБО

Так серы и убоги желанья людские,
что небо
вечно в тучах,
и за три недели кончается лето.
И чем низменной мысли,
тем гуще над теменем. Ибо
столько лет мы на небо глядим
и не видим просвета.

Столько лет средь людей,
чьи ухмылки и взгляды колючи,
столько лет в городах,
где для яви сомнительна энность.
Нет для душ ничего тяжелей,
чем проклятые тучи,
и для жизни мертвей,
чем вся это извечная серость.

Не прошу, мой творец, ни любви,
ни покоя, ни хлеба,
ни дуращих витрин,
ни колбасных раздолий, ни пиццы,
проломи же бетон,
разверни настоящее небо,
покажи нам просторы,
к которым стремятся так птицы.

ЮРИЮ АКИМОВУ

Хлынет, примчится, задев о порог,
из обитаемых снов мироздания,
яркое, жаркое воспоминанье:
доки, понтоны, прожженный песок.
Берег Волжанки, жужжанье стрекоз,
Астрахань, «шмонька», пустыня окраин,
КАсим, как Авель, Санек, словно Каин,
ты — первозданно худой, как Христос.
Все для души! Даже пиво с утра.
Как мы материей не дорожили —
рыбу глушили и водку глушили,
кто из стаканов, а кто из горла.
Годы намотаны на оверлок.
Странно, что наши сплелись дороги.
Мы разбежались без грусти, как доги —
дьявол аукнул, откликнулся Бог.
Ты мне пророчил, хоть был не пророк,
что затеряюсь и вынынчу скуку.
Да, я терялся и знал эту суку,
но шлифовал поэтический слог.
С семечко счастья, несчастий с мешок,
жены детей поставляют и роги?
Мы разбежались красиво, как доги,
только наклюкались на посошок.
Что приключилось? Пришла ли беда?
Спился Санек, в преисподнюю скатился
КАсим, и ты, говорят, опустился.
Я все ломлюсь в неземные врата.

ПИСЬМО

Мой милый друг, прошло пятнадцать лет,
пятнадцать лет прошло, дружище Робин.
В моем окне все той же лампы свет,
и так же я не зван и неудобен.

Я одинок, мой Робин, как Дедал,
что в небо взмыл, но был не понят веком.
От одиночества, должны быть, наката
и письма все Луцилию Сенека.

Но я скорей Овидий, что сослан
был к черту, в глушь, в Томис
(почти в Саратов).
Хотелось знать бы, есть у них там план
по беспределу, у небесных сватов?

Итак, я отбываю как Назон
свой скучный срок, воюющий невежда.
Все тот же стол, окно, в окне газон,
в машинку лист заправлен, как надежда.

Сижу, брюзжу. Что дружба, что любовь
поскудны в нас, поскуден мир
трухлявый.
Лишь с каждой женщиной
я воскресаю вновь,
как с каждой осенью
поэт один кудрявый.

Шучу. Но в общем было что везло,
когда растоптан, пьян бывал и злобен.
Все в недостатке зла. Хоть право зло
бессодержательно и скудно, Робин.

Друзья искобелились, истаска-
лись, поглупев, подруги, друг мой, Робин.
Все катится к чертям! И ест тоска
дуром, хоть я, дружок не столь съедобен,

сколь ядовит, особенно весной,
когда бульвары тают, и особен-
но если обещают над страной
суровый Божий суд, мой милый Робин.

И так, без света все пятнадцать лет,
но как-то ночью, пролетая Беллой,
увидел я однажды слабый свет, —
но это лишь окно мое горело.

ЯМАЙКА

Работы — грудa! Упиваюсь
все ей, горбатой, как верблюд,
и тихо в дождик загибаюсь
во глубине Симбирских груд.

Но отыщу цветную майку
и «чао» родине пропев,
сорвусь однажды на Ямайку,
где пляжи, пальмы, ласки дев.

Ямайка ждет, Ямайка манит,
разносит визги до Гавай.
Жаль, на Ямайку нету мани,
есть мани только на трамвай.

Ах, боже мой, какая проза,
сидеть, мечтать и ждать как пень,
когда по типу божьей манны
с небес сорвется кошелек.

Я лень когда-нибудь отброшу
и кулаком бабахну в грудь,
и обворую по Гаврошу
кого-нибудь и где-нибудь.

И в жизнь нырну, как голый в воду —
вот заискрит свободный стих!
Ведь мани нам дают свободу.
да кто ж свободу впичкал в них?

Ах, ждет меня Ямайка, тая,
из глубины Симбирских груд,
как ждет любовница молодая
конфуз сомнительных минут.

В Париже скучно. На Ямайке —
другое дело. Там — отпад.
Там волн сверкающие стайки
и серебристый водопад.

А здесь мозги мои, как гайки,
закручены от тяжких дум.
Под пальмы солнечной Ямайки
всегда нас вел свободный ум.

Мне грустно. Дождь в своем экстазе.
Работы — груды. Вечер сир.
Я в мире столько видел грязи,
еще бы вот увидеть мир.

СЛАДКИЙ СТИХ

Так сладко ты сегодня спишь,
что в горле привкус мармелада.
За шторой солнце, как лампада,
мокры дороги, тополь рыж.
То осень. Плач мирских идей,
испито небо до остатка.
А ты во сне сопишь так сладко,
как будто вовсе нет дождей.
А я не вправе разбудить —
миры за шторой, так угрюмы.
Чем слаще сны, тем горше думы,
и прервана меж ними нить.
Так сладко ты сегодня спишь,
что сахаром сверкает гравий.
Нет, я будить тебя не в праве —
что дам взамен? Унынье лишь.
Ах, боже мой, что дам взамен?
Стихи и дурь пустых мечтаний?
Что я могу в миру страданий —
ни бог, ни царь, ни супермен.
Дожди от Волги до Десны,
намылились в загранку птицы.
Ах, право горше жизнь горчицы,
не оттого ль так сладки сны.
Простынут нимфы без калош,
исчезнут феи безвозвратно.
Когда проснешься, вероятно,
разочарованно вздохнешь.

ИРИНА

Полночный Киев. В нем Ирина
бледней луны на небеси.
Бойфренд, воняющий уриной,
ловил дежурное такси.
Крещатик. Винное крещение.
Хранитель тонко смылся прочь.
Вокруг нетрезвое кишенье —
пьяна украинская ночь.
Не сотвори себе кумира,
тем более из дурака.
Бойфренд с ужимками гориллы
ее обшаривал бока.
И всю измызгав, как собачку,
рассыпав, точно конфетти,
он затолкал Ирину в тачку
и крикнул пьяно:
— Шеф, крути!
И жутким было откровенье,
таксиста взгляд, и ампул схрон,
и гадко заднее сиденье,
и перегар со всех сторон.
Гостиница, швейцар, томленье
и номер, где уже невмочь,
и эта дрожь от нетерпенья —
лиха украинская ночь.
Объяты потные рванины,
в постели мерзко и темно,
в нагую чистоту Ирины
вползало новое дерьмо.

ОФЕЛИЯ

В глухом подвале душно, как в могиле:
гуляет банка по рукам пивная.
Офелия, сестра, бедняжка, ты ли,
среди ханыг, нагая, как Даная?

Пивная по зубам стучит кондрашка.
Отрыжка.

Банка в тьму плывет эсминцем.
Тебя узнал, Офелия, бедняжка,
по взгляду,
что смутил когда-то принца.

Простил Господь тебе твое безумье
и грязный пруд,
где в берег смерть уткнулась,
на Валентинов день под новолунье
благословил, но с ним ты разминулась.

Уже дождем, как Зевс, он не прольется,
и сер твой лик от черноты и но-шпы.
Не жди его, он больше не вернется —
давно в раю он.
Впрочем, и не ждешь ты.

В каких мирах, отбросы подбирая,
мечты теперь твои и сны витают?
Ах, Дания, нет в мире лучше края —
там принцы мстят,
а не в запой впадают.

Что за безумьем девичьим таилось?
Безумье — вздор! И знал о том Уильям.
Его любви хотела? И добилась,
из гроба услышав:
— Ее любил я.

Ошеломи Лазрта этой вестью,
пусть кровь забьет в висках
и хлынет горлом.
Как можно жить одною только мезтью,
когда цвоток любви еше не сорван?

В глухом подвале по рукам вандалов
гуляет банка, нечисти роятся.
Страшись, сестра Офелия, подвалов,
любви великих нечего бояться.

РАЗВИВАЯ ИСАИЯ

Когда одной тропой на водопой
идут с лисицей мышь, с косулей рысь,
всем ясно — продиктовано бедой
их примиренье, как с землею высь.

Когда пустились волк с овцой в бега
и барс с козленком умиляют лес,
как предрекал Исаия, тогда
всем ясно — это грохнула АЭС.

Когда солому ест с коровой лев,
когда сквозь камни зерна проросли,
какой накликал был пред этим гнев?
Какие войны землю потрясли?

Когда взмывают души из-под груд
развалин, и такая в мире тишь,
всем ясно — происходит Божий суд.
Исаия молчит, как Кибальчиш.

В РАДИОАКТИВНЫХ ВОДАХ

Где тонны смертоносных вод
в морских глубинах,
плывут, как Викинги на сход,
на смерть дельфины.

И самый мудрый, выгнув хвост,
воскликнул:

— Горе!

Есть у людей прекрасный тост:
«За тех, кто в море!»

Нет облегченья без беды,
облегчим души!
Хлебнем отравленной воды
за тех, на суше!

Суда уходят, рыб дразня,
считай — пропащи!
За них пью горькую друзья,
чтоб стало слаще.

Дано от Бога им чело,
душа — подавно.
Все знают, если тяжело —
другому славно.

Глотнем с глубинною тоской
за тех, кто плавал!
И если с нами Бог морской,
то с ними дьявол!

...Один хлебать не захотел,
поплыл на берег,
где кран уродливый гудел,
как грозный Терек.

В песке он долго клокотал
и думал: «Горе!»
И клюв с надеждой поднимал
за тех, кто в море.

Но плавники потом свело,
и стало странно.
Он вспомнил: если тяжело —
другому славно.

Он умер (час под краном бил)
с улыбкой глупой.
Прибой, вздохнув, к утру прибил
всей стаи трупы.

РОЖДЕСТВО

Что в России? Опять рождество?
В небесах так, товарищи, чудно!
Заметает страну, словно судно,
что вморозило в лед естество.
Свищет вьюга ковбойской петлей,
и прохожий снежинки глотает.
Божьей манной страну засыпает,
словно гробик промозглой землей.
Заморожены вновь деревья,
запорошены тропы и дали.
Купола перелиты в медали,
переколоты вирши в дрова.
Все заметано! В пачку галет
запечатан огонь поколений.
Впереди ни следов, ни знамений,
ни Сусанина нового нет.
Равнодушен небесный покров.
За спиной пепелища и трупы,
под землей только кости и трубы,
да семь ярусов антимиров.
Для каких планетарных наград
так извита земная дорога?
В тридцать три я уверовал в Бога,
а в пятнадцать низвергнут был в ад.
Бог укажет тропу на Парнас —
дьявол тут же ее замордует.
И земное блужданье вслепую,
вероятно, есть жизнь в небесах.

КРЫЛЬЯ

В моем столе который век
пылятся сломанные крылья.
Который век шарашит снег,
как из кувшина изобилья.

То небо рушится. С хвоста
срубают змий миры земные.
Сегодня снег, а завтра ста-
нут камни в ставни бить шальные.

Взлететь бы в небо, поддержать,
да мышцы в воздухе заклинят.
Зачем не стала твердь рожать
мастеровых, что крылья чинят?

Атлант прозрел и тихо вне-
млет Богу, точно он пустыня.
Для этих право на земле
держать не стоило доныне

небесный свод. Гниют умы
и давятся насущным хлебом.
Как там в писаньи от Фомы:
«И те исчезнут, кто за небом».

Пора оставить небосвод,
стоять, согнувшись, не солидно.
Не стоит ради них, кто «под»,
а кто «за» небом, тех не видно.

Фома, с чьим именем вершить?
С рожденья лживы мы и вшивы.
«Кто умерли, не будут жить,
Но вечно будут жить, кто живы».

Гляжу на снег, на город, на
смурные лица, как колодца.
Мертвы прохожие. Страна
мертва. Никто в ней не проснется.

Метель завоюет, что твой бес,
закрутит вьюга, как Каурка.
Вот чудно сыплется с небес
божественная штукатурка.

Взлететь бы в небо, поддержать
затылком, словно судно килем.
Но где, скажите, отыскать
простого мастера по крыльям?

ГЕСИОД

В миру закрученных забот
среди грачей и пацанят
уныло бродит Гесиод
трусами полон, как гранат.
Он самый мрачный из теней,
и очень зол, и очень тих.
Шуршит листва, «до лучших дней»,
а он не помнит и плохих.
Кругом асфальт, асфальт, асфальт
и гарь, и пыль, и неуют.
Всю жизнь, как мыши, суетят-
ся люди и, как мухи, мрут.
Он сатанеет, Гесиод,
он тупо смотрит на огни:
— О род людской, мышинный род, —
одни труды, а где же дни?
Да, вечен труд, дни только снят-
ся ночью, вот в чем парадокс!
Вверху созвездия висят
как паруса завядших флокс.
Трудись, как раб, трудись, как жлоб,
и будь с уродливым горбом!
Срифмуешь горб потом на гроб
и возродишь себя клопом.
Не возродишь лишь третий Рим
из-под обломков и низов.
Уж полночь. Раздается гимн,
как песнь вакхических козлов.

СТИХИ О НЕКОЙ ДАМЕ

Волны Балтики азартно
прут на парাপет.
Тут кончается и карта,
и земля, и свет.
Силуэт прекрасной дамы
виден из дали —
долго смотрит на туманы
с краешка земли.
На причале смех и слезы —
интерабордаж.
Теплоход, прекрасней розы,
уходил в мираж.
Грациозный и безгрешный,
окроплен росой,
самый-самый белоснежный,
с синей полосой.
Там на палубе гуляют
интеркуркули,
и никто из них не знает,
что тут край земли.
Дальше — льды, седые марты,
полюс, стужи край.
Может, лгут все эти карты,
и за краем рай?
Влепит ветер оплеуху,
ах, да все одно!
Ведь с таким шикарным брюхом
можно и на дно.
Вьется флаг, как на рекламах,
голубеет крест.

Крест на вас, прекрасных дамах —
нет свободных мест.
Пляжи заняты. На рейдах
мотоботов дым.
Где вы, яхты, в снах и грёзах? —
выдумал все Грин.
Взгляд из рубки неприличный,
липкий, как вертеп.
Кэп такой не симпатичный
и не молод кэп.
Грубо схватит он, возложит —
и всю жизнь смывай!
Он нечист, небрит, но может
увезти за край.
Он на мостике высоком
тоже на краю,
под гудок окатит смогом
и «мадам, адью».
Только ветер побережный
всхлипнет за косой,
и исчезнет белоснежный
с синей полосой.
Но глаза прекрасной дамы
с краешка земли
что-то видят сквозь туманы
в неземной дали.

ПИАНИСТКА

На остановке школы музыкальной,
где в ожиданиях жизнь моя сгорит,
то лист шуршит с тоской полументальной,
то на рояле девочка играет.

Дрожат деревья, день неясный тает,
трамваев нет, все вымерли, как мухи.
А на рояле девочка играет,
да проклиняют транспорт две старухи.

По кепкам капли бьют, ползет ненастье,
толпа зонтами обрасла, зевая.
Давно не ждем от жизни этой счастья,
дождаться до ненастья бы трамвая.

Чего нам ждать? Заботы так спаяли,
что Гесиод, и тот с небес осудит.
Но девочка играет на рояле
и привирает, что еще все будет.

А нас давно уж превратили в зомби,
нам души съели сУеты и страхи,
а впереди чернобыли и бомбы,
озоновые дыры, карабахи.

А мы все дальше в камни от закатов,
а мы не верим в разум мирозданий,
и если мы не сдохнем от нитратов,
то сдохнем от трамвайных ожиданий.

А нас уж не спасти! Финал итожат
кислотные дожди, что крыши драят.
Я жизнь любил, и жизнь еще быть может,
где на рояле девочка играет.

О как бы славно мы в аду сгорали,
конец всему — спасеньем отзовется.
Но девочка играет на рояле
и кажется, еще все обойдется.

А над зонтами осень мировая,
а под ногами листья умирают,
и нет надежд, и нет давно трамвая,
но есть рояль, и девочка играет.

Оглавление

ЦЫГАНКА	3
В ПОДВОРОТНЕ	4
В ТБИЛИСИ	5
ПАРК «ДРУЖБА НАРОДОВ»	6
РОЖА	7
ЖЛОБЫ	8
МЫСЛИ В СНЕГ	10
ПРОУЛКИ	12
ЛЮДИ	13
ПО ПУТИ ИЗ ДЕТСАДА	14
ПОЧТИ ПО КАТУЛЛУ	16
АНЖЕЛИКА	18
ЗА ПИВОМ	19
СВОБОДА	20
ВЫСОЦКОМУ	21
ТРИДЦАТЬ ТРИ	23
РАЗВЕ НОВО	25
СЛЕПЕЦ	27
НА БАЗАРЕ	29
ЖЕЛТЫЙ СТИХ	31
КОГДА СТАНУ ДЫМОМ	33
НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ	34
МАРИНА	36
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ	37
РЕЗИДЕНТ ИВАНОВ	42
РАССВЕТ	43
КОНФУЦИЙ	44
РОК	45
НЕБО	47
ПИСЬМО	49

ЯМАЙКА	51
СЛАДКИЙ СТИХ	53
ИРИНА	54
ОФЕЛИЯ	55
РАЗВИВАЯ ИСАИЯ	57
В РАДИОАКТИВНЫХ ВОДАХ	59
РОЖДЕСТВО	60
КРЫЛЬЯ	61
ГЕСИОД	63
СТИХИ О НЕКОЙ ДАМЕ	64
ПИАНИСТКА	66